

Жители Уймонской долины Горного Алтая, Молотковы – Атамановы, с которыми познакомились осенью 1990 года, во время выезда участников международной научно-общественной конференции «Алтай – Гималаи» на берег Катуня, пригласили нас с дочерью Юлей на конноспортивный праздник. Он проводится в долине на масленицу, в этот старинный славянский праздник проводов зимы. По сути, масленица должна отмечаться в дни весеннего равноденствия, то есть 22 марта. Но это рабочие дни, и советская власть, выхолащивая суть языческого праздника, приурочила проводы зимы к

выходному дню празднования 8-го Марта. Попасть на Алтай ранней весной очень хотелось. К нам добровольно присоединился студент физфака НГУ Серёжа.

05.03.91. Выезжаем сегодня поездом на Барнаул, чтобы попытаться улететь оттуда прямым рейсом на Усть-Коксу. Это единственный рейс, осуществляемый Аэрофлотом в отдалённый райцентр Горного Алтая. У меня нет иллюзий по поводу того, что в кассах будут в свободной продаже билеты в канун праздников. Как я и ожидала, не улетели. Барнаульский аэропорт оказался забит пассажирами, билеты были распроданы задолго. Поехали на автовокзал. Потратили нервную энергию, толкаясь в очередях, но удалось сесть в один из автобусов, идущих до Горно-Алтайска. В столицу Горного Алтая приехали глубокой ночью. К счастью, у Сергея жили в этом городе родственники. К ним мы и пришли в час ночи проситься на ночлег.

06.03.91. Рано утром хозяйка поднимает нас и ведёт на автовокзал. Билетов нет ни на один из автобусов, идущих в дальний район. Но у неё есть знакомый шофёр и диспетчер в подругах. Нам дают совет подождать автобус на одной из улиц на выезде, представляют нас шофёру, чтобы запомнил и подобрал с обочины. Так и поступаем. Долго ждём, промёрзнув на ледяном ветру, пока автобус на Усть-Кан не тормозит возле нас. Под ропот остальных пассажиров втискиваемся в салон маленького ПАЗика, удаётся даже прислониться к рюкзакам и полуприсесть в проходе. Пассажиров втрое больше, чем вмещается в автобус. Но народ терпеливо сносит неудобство, выстаивая на ногах сотни километров пути по горной трассе. Что-либо разглядеть сквозь промёрзшие окна не удаётся, но из разговоров понимаю, что едем по новой дороге через Чергинский перевал. Она короче дороги по Чуйскому и Онгудайскому трактам, но пустынная. За Чергой

лежат вдоль неё только алтайские сёла. К вечеру подъезжаем к Усть-Кану. Высокогорная Усть-Канская степь поражает меня. Отдохновение глазу – жёлтая трава от горизонта до горизонта, бесчисленные отары овец. Снега нет, он остался позади, в горах. Говорят, что здесь всегда такой пейзаж.

Автобус дальше не пойдёт. Завтра с утра будет другой автобус на Усть-Коксу. Пассажиры расходятся по домам, а мы идём проситься в гостиницу. Пробую уговорить дежурную согреть нам кипятку. Дежурная непреклонна – не может: им запретили пользоваться электрочайниками. Выручает алтайка из соседнего номера, приносит чайник с кипятком и наливает в наши кружки.

07.03.91. До соседнего райцентра сто десять километров пути. Довольно быстро в автобусе становится просторнее, часть пассажиров выходят в Кырлыке. Появилась возможность видеть окрестности. Дорога живописная. Вот уже и речка Кокса внизу. Высоко над нею проложен тракт на перевал Громотуха. Медленно втискиваемся в щель между скал Теректинского хребта. Недолгая опасная лента серпантина дороги, и вот мы уже в зимней Уймонской долине, в столице района Усть-Коксе. Нам надо преодолеть ещё одиннадцать километров пути до Октябрьского. Проходим всю деревню с нашими тяжёлыми сумками. У каждого дома домашняя живность, на улице кони, коровы, козы, овцы, собаки. Кучки навоза, сладковато пахнущие даже на морозе. Вот почему складывалось впечатление тучности невероятной домашнего скота! Вот и дом в конце деревни, в который нас пригласили. Добирались этот раз на перекладных, долго и с приключениями. На гостевание, жаль, времени не остаётся.

Нам обрадовались так, что даже душа затрепетала. Начались разговоры о жизни, новостях, болячках. Всё это время что-то делаем вместе. Помогаю хозяйке лепить пирожки.

Лепим пирожки и разговариваем.

– У нас на Благовещение бабушка птичек пекла, пряники-печенюшки, «жаворонки» называются, – делюсь я.

– А у нас вот так: лепят да в кипящее масло бросают. Ещё в тесто кашку добавляют.

– Мы в школе на уроках труда ещё скворечники мастерили.

– У нас на сорок святых скворечники выставляют. Это уже после Евдокии. Сорок птиц должны прилететь, тогда уж и «жаворонки», и семечки рассыпаем, и скворечники. Тогда будет праздник. На Троицу через костры прыгаем. Все прыгаем. Сначала молодые, а потом и все остальные. Бывало, вся ферма выходит прыгать. Сначала одни дети сидят, ждут, потом все приходят в святой круг.

– У нас «жаворонкам» изюминки в глаза вставляют. Бабушке помогаешь, одну в тесто, в глаз, другую в рот, – вспоминаю я.

– В неделю поста перед Пасхой даже чай пить с молоком нельзя. В Пасху нельзя готовить, поэтому делаем накануне. Юля, ты знаешь, что такое Пасха? – спрашивает Капитолина.

– Это куличёк вкусный.

– Нет, это творожок сладкий. Ему форму кирпичика при-давали, начиняли изюмом, мармеладом. А кулич-то из теста. В цилиндрическую форму тесто укладывали где-то на одну треть. Оно само так поднималось, что вылезало из формы шапкой! – поясняю я.

– Мама к Пасхе готовилась. Нас заставляла всё начисто вышоркать. Шоркаешь, шоркаешь дерево, пока не запахнет. А запахи от теста?! Все слюнки поглотаешь. А есть нельзя, пока Солнце не взойдёт. Поклонишься Солнцу в пояс да за стол.

– У нас в доме тоже готовились. Отец коммунист был, хотя делал вид, что не видит, как красят яйца, пекут куличи, над пасхой колдуют, студень в погреб опускают. Бабушка в церковь уходила. Её ждали терпеливо. И отец ждал. Весь

древний наш город благоухал ванилью. Люди радостно приветствовали друг друга шёпотом: «Христос воскрес!».

Отец любил бабушкины розы из теста.

– А ты, Алексеевна, помнишь, как их делают? Научи.

– А вот смотрите: разрезаем, посыпаем сахаром, ещё раз складываем, опять разрезаем, посыпаем. Вот так.

– Ишь ты! Век учишь, говорят. Ещё раз покажь.

– Тесто только другое нужно, ароматное, сдобное. И пышки вот такие делаем, – леплю для неё образец.

– А у нас всё в масле коровьем. Они раздаются вширь, в масле-то. Вот увидишь сама. А что ещё у вас готовят?

– Ещё селёдки у нас приготавливались.

– А их-то чего готовить? – удивляется Капитолина.

– За неделю рыбу ставили вымачиваться в водке, горчице, молоке, хрене, с перцем, с лимоном, в варенье, наливке вишнёвой. Штук пятнадцать разных селёдок на стол выставлялось.

– Ишь ты, до чего народ додумался. А у нас их редко когда привозили, и так в радость была. У нас рыба. Рыбы, икры этой тайменной уж столько было – завались! Как тайменя поймаешь, так иной раз целую чашку, икры этой, возьмёшь. Начальники к Алексею моему, покойничку, придут, бывало, и с порога: «Корми, Капа!». А я её никак не могу есть. До сих пор не ем, нутренность её мне поперёк горла. Они посолят, всё хорошо, едят. А я как представляю, что едят... тьфу, за-тошнит. Не нужна мне икра. Я позвоночки люблю. Но сейчас не стало той рыбы, что была. Мама, бывало, с рыбы одной столько пирогов настряпает! Весь стол уставит. А я не люблю рыбные, мне сладкие милее. И дед не любил, чтобы рыбное на праздник, говорил – рабочее. Мама для него старалась. Дня за два к гулянию готовиться начинала.

Раньше как было? Это старики гуляли. А мы на печке. Лежу и смотрю оттуда. Они не пили. Стаканов и не было. Пили с

чары. В чару наливали. А мясо... У меня Серёжа тоже не любит, чтобы мясо кусочками. Всегда крупные куски варили. Наварят в чугушке русском в печи, оттуда и доставали всегда горячее.

– Довелось на Алтае и мне есть мясо с противня, – вступаю я в разговор. – На ноябрьские праздники поехала в горы на Телецкое. А снегопад был сильный, страшный, перевал закрылся. Пришлось сидеть, погоды дожидаться. Нам в столовой в Турочаке вываливали кости с мясом, что от супов оставались. Этим и кормились, деньги-то кончились, что с собой брали. Всего на три дня рассчитывали, а просидели две недели. Первый раз сели и стали хватать мясо, как безумные. Там такие куски... Мы в городе в таком количестве мяса никогда не видим. Это было в 1971 году, а помнится.

– Вот! Вкусно. Его только переваривать нельзя. Вот баранину взять. Её берёшь в рот, чмок – и нет. Она вся всасывается разом, даже жевать не надо. А уж песни пели... Как старики начнут, так изба отзовется, все углы трещат. А женщины вообще не пили, только пригубляли. Их пригласят к столу, они пригубят и снова хозяйничают. Дед, бывало, только зыркнет, а мама уже знала, что недостаток, что-то не так. Женщины от столов подальше держались. Не при Юленьке будет сказано... Мужик тут у нас один, любитель чужих баб щупать, Гурьян, змей форсистый. А дома у себя работать не любил. Дед наш день и ночь пашет, даже пьяный. Вот и Серёжа у нас, какой бы ни был с гулянья, а вилы возьмёт и скотину всегда накормит. Борис его уговаривает, что всё сделает, а он не разрешает, в своём хозяйстве всё сам: «Ты не так сделаешь, скотину потревожишь!». Накормил и упал с вилами рядом спать. Его домой привели, и он спит. А Гурьян орёт: «Теперь по бабам!». И норовит под столом ущипнуть, зараза какой! А у нас дед кричит: «Гурьянка, ты свои руки не распускай. Мою

Иринку не трожь, а то тошно тебе будет!» – Змей блудливый. А жена у него хорошая, работающая. Удивлялись все в деревне, что идёт, рыбу на себе несёт, сети, да ещё сумку тащит, да ружьё прёт. Пока рыбачит, так и утку убьёт. Дрова на себе прёт. Он даже дровами женщину не обеспечивал. Потом она у него умерла. Он, злыдень, наиздевался над ней, заболела она. Детей у неё не было.

– От тяжёлой работы, какие дети?

– Да. Надсаживалась да простывала, а не лечилась. А мама моя жалостливая была. Заходила к ней. Он за женой не ухаживал. Вши у неё завелись с нужды да с горя. Просила: «Исаевна, посмотри у меня в голове!». Мама её посмотрит, помоеет, чистенькую уложит. А та плачется, что Гурьян над ней каждый день измывается. Мама нас в субботу к ней посылала, всё помыть и почистить. Мы ей всё выскребали. Он так над ней издевался, что она в кусты уползла, схорониться. А ливень был такой, со снегом. Она в кустах и умерла, на коленях. Видно, застыла, а подняться не смогла. Жалко её было. Я её всегда проводывала. Утром буран прошёл, солнышко. Я и побежала на перемене бабку проведать. Он сидит и горюет, что жена куда-то ушла и сгинула. Я в школу побежала и сказала учительнице, чтобы отпустила меня бабку искать. Учительница всех нас повела. На речке искали. Думали, утопилась, по камням смотрели. А потом, орда есть орда, играть стали, запрыгали, кто куда. Тут её и нашли в кустах. Мы её принесли. Его презирали все, никто не уважал за то, что жену сгубил. На гуляние приглашать не стали, наши бабы замуж за него не шли. Взял чужую. Хотел уезжать отсюда. Над второй женой тоже издевался. Поехал за сеном, передок лопнул, и его оглоблей убило. Все говорили, что злыдню Бог наказал.

Юля моя что-то кашляет. Я переживаю, что инфекцию подхватила в дороге.

– Это она веснянку подхватила, остудилась.

– Чем веснянка с простудой различаются?

– Да в мороз-то февральский обязательно застынешь. Месяц февраль жгучий. Зимой застынешь, а не заболеешь. А в феврале обязательно заболеешь, месяц такой. Он до 14 марта по-старому идёт. Юля, давай чаю пей, да и ложись. Мы про тебя забыли, а ты спишь с дороги.

08.03.10. С утра опять пасмурно и морозно. Завтракаем картошкой в сметане, топлёной в русской печи. Вкусно необыкновенно! Собрались ехать в Верх-Уймон, на ту сторону Катуня. Я предложила добежать пешком, жаль было жеребую, на шестом месяце, хозяйскую лошадь Дочку. Больно было смотреть, как она тяжело вздыхала, когда её запрягали. Поехали к переправе. Но на наших глазах рухнул «мост», то есть лёд, по которому ездят зимой даже машины. Днём на солнце уже подтаивает. Вот он, Верх-Уймон, напротив, а не попасть в него. Пришлось вернуться, только Дочку зря маяли. Собрали застолье.

Я пошла снимать деревню. Почти все перемещаются в ней верхом на конях. Удивительна посадка всадников: у них прямая спина. Сидят как влитые. И я говорю не об алтайцах, а о русских. Мужчины и в санях не сидят, а стоят на узких площадочках сзади, держа вожжи в руках. А как взлетают на коней! Видела деда, который еле двигал ногами, буквально шаркая и семеня. Парень подвёл к нему коня. Вижу, что стоит он на земле. Через секунду летит вверх, чиркает в воздухе ногами, как ножницами, раздвигает их... и уже сидит в седле, спина прямая, он – горделивый всадник. Очень красиво это у здешних мужчин получается. Дед разрешает Юле сесть на жеребца Сыночка. На нём верхом подъехал сын Борис, которому и показывают Юлю. Он в бурке, в меховой папахе, казак во всей красе, и страшно смущён. Подсаживает Юлю в седло и с восхищением восклицает:

– Правду говорили, что по-степному сидишь! Где училась?

– В Хакасии. Я на раскопки ездила с историками из Новосибирского университета, где мама работает. Там с нашими археологами рядом пастухи были, вот они и учили меня.

– Правильно посадили, с умом, – хвалит Сергей Михайлович. – Езжай на Катунь девушка, Сынок смирный. А ты в поводу веди, выручишь, если понадобится.

Шумы деревенские интересные. Петухи кричат, овечки блеют, коровы вздыхают. И птички на крыше щебечут. Показывают нам хозяйство. Разговариваем о кооперативах.

– С одной стороны хорошо, что самим хозяйничать разрешили. А с другой, как оно получится? Заработаешь, а отберут.

Дети наши верхами едут к реке, а мы возвращаемся в избу отогреться. Здесь опять разговоры о работе, охоте. Рассказывают всё, да не всё. Иногда переглядываются и замолкают. Но в основном беседа течёт, не прерываясь. В избе полно народа, все дети сегодня у матери собрались с внуками и детьми. Разговор зашёл о таёжном звере. Сергей Михайлович рассказывает, как с медведем встречался.

– Место у нас тут рыбное есть. Всегда там медведи, с ружьём на рыбалку ходим. Я-то что... Есть у нас тут один, тёзка мой, Серёжа. Вот с ним случай! В июле Серёжа ушёл на речку рыбачить, устроился под скалой, там место рыбное. А тропинка туда одна. Рыбу наловил, а медведь из кустов с малины вышел да путь-то загородил. Деться некуда, речка сзади, а впереди зверь. Ну, он удочкой и засадил ему в глаз. Тот заревел и по тропе кинулся отбегать. Серёжа оглянулся рыбу подобрать, а сзади опять медведь. Начал его удилищем хлестать, думал зверь тот же, а зверей двое было, он не знал. Спокойненько удилищем ещё раз в глаз тыркнул. Ружьё схватил, собирается быстро, а сзади что-то стукнуло. Оглянулся, а на тропе второй медведь. Они друг за дружкой

ходят, охотники знают. Стрелял, а он опять стоит. Стрельнул ещё раз. «Что такое, – думает, – не может быть, чтобы не попал». Залез на скалу, а они по ту сторону лежат, все трое, прямо на тропе.

– Он алтаец? – спрашиваю я.

– Алтаец, то есть казах, ну, нерусский, одним словом. Живёт у нас на центральной усадьбе.

– Ты, Алексеевна, чай-то пей, а то слушаешь, а он стынет.

– Не боялся он, когда стрелял, спокойным оставался, – роняю я.

– Дак когда спустился, тогда понял, чего избежал. Помогали ему их вытащить, мясо взять.

Студент Серёжа ходит в фольклорный ансамбль Дома учёных «Голымба». Пытаемся разговорить и раззадорить нашу хозяйку на песню.

– Так у нас стихи поют.

– Что за стихи?

И Капа запела:

Вот крещёные все собралися.

Сложены вещи все впереди.

Капа берёт высоко и переходит на слезливый надрыв:

И мчится прямо на восток.

А чья-то, чья-то мать-старушка

Стоит и плачет у ворот.

А дочка тоже стоит и плачет,

Утёрла слёзы рукавом.

Капа повторяет дважды припев и переходит на следующий «стих», в котором с удивлением и с трудом узнаю всем известную «Колыму»:

Пятьсот километров тайги,

Кругом только дикие звери.

*Мужчины не ходят туда,
бредут, спотыкаясь, оленя.*

*Я знаю, меня ты не ждёшь,
И письма мои не читаешь.
Встречать ты меня не придёшь,
Об этом я знаю, родная.*

*Будь проклята ты, Колыма,
что названа чудной планетой.
Сойдёшь поневоле с ума,
Отсюда возврата уж нету.*

*Прощай, моя милая мать,
И вы, мои милые дети!
Лишь горькую чашу вина
пришлось мне выпить на свете.*

– Капитолина Ивановна, спойте настоящую сибирскую песню!

– Сам играю, сам пою, весело в нашем краю! – притопты-вает Сергей Михайлович, картинно подняв одну руку вверх, а другой подбоченясь.

Серёжа Ильин заводит:

Стоял каменный большой острог.

Сколь высок он был и безобразен.

Стоял каменный большой острог.

Стоял каменный большой острог.

Мне назначено было судьбой

Год в остроге том просидеть.

Год в остроге мне просидеть

За железной за решёткой.

За железной за решёткою

Была темница под замком.

*Двери были замкнуты замком,
Двери замкнуты замком!
Кто там ходит тихо в коридоре?
Безответный ходит часовой.
Там безответный ходит часовой...
Откройте мне мою темницу!
Дайте свету мне и огня!
Дайте свету и огня,
раскрасавицу мою девицу,
златогривого моего коня!*

Вот старинная песня, Капитолина Ивановна. Спойте и вы.
– Дак Серёженька... Может, вот эту?

*Одна девка роста небольшого,
Хоть со слезами, но им сказала:
– Но мой веночек спотонул..
Знать, меня милый обманул.
Мой веночек, мой веночек спотонул да спотонул,
Знать, меня милый, милый обманул.*

Да ну их, печальные! У нас все боле частушки озорные поют. Играют и поют. Я на заслонке играла, печку которой заслоняют.

*Ах ты, хоня-махоня моя,
полюбила я тихоню, тебя!
Неучёного неграмотного,
бестолкового беспамятного!*

Ты чего, Алексеевна, записываешь?! Я тебе так наозорничаю, стыдно читать будет!

*Все старушки по парам
Разбрелись по амбарам,
А мне пары нет, – говорит Сергей Михайлович.*

– Укладываться надо.

– А почему такая присказка?

– А игра такая. Наиграемся, а потом вечером провожались так. Становились парами в круг, кто хочет домой. Пропоют так. Станет парень перед девкой, поклонится и бежит.

– Девка за ним должна бечь, люб, не люб. Я Лёнькиного отца ненавидела. Он гундосый, хвастун, а всё норовил напротив встать, чтоб бежала. А я не бежала. За ним не бегу, а он злится и нарочно становится, другим не даёт. Которую девку вызывают, та и должна бежать. А если далеко парень бежит, за каким бесом за ним бежать? Ясно всё. Так пары определялись. Остаются в конце кривые да косые, такие никому не нужны.

– А какие у вас тут загадки?

– Загадки?

«Полна хата воробьёв загната», подсолнух – ответ.

«Две мышки на покрышке. Куда хочут, туда и скочут» – глаза это.

«Бегут бегунчики, текут текунчики. Везут рогатики колоть лохматики» (лошадь).

«Марья да Дарья никак не встретятся, а к ним сухой Матфей привязался» (глаза и нос).

Играли в «бутылочку», в «ручеек», в «просо сеяли», в «кошелёк». Спать пора. Завтра посмотришь в Коксе. «Господи Иисусе!» Серёжа, ты как молишься? Ты как персты складываешь? Али не крест у тебя? И на шее не вижу.

– А как правильно? Я вообще-то некрещёный. На БАМе у нас не крестили. А чего? Необязательно крест на шею вешать. Можно в Духе в Бога верить.

– Тогда тебя незачем за стол садить, – озабоченно говорит Капитолина, – нехристь ты. Раньше нехристей никто не посадил бы. Это я полька. Дедушка по матери поляк был. А по отцу – татар. А я внимания не обратила. Мы двумя перстами молимся.

– А когда поляки сюда пришли? – спрашиваю.

– Кого пришли! Ссылали сюда всех. Был здесь пост пограничный, от казахов форпост.

– С моей стороны, с отцовой, Горбуновых–Атамановых, у всех волосы стоят. И у парнишек у всех стоят дыбом, кучерявые все. И все коней любят. Они с Архангельска. Два брата пока остались у меня. Монголы чистые, но кучерявые.

– Наоборот, чисто русские. У тебя, Капа, всё-таки полтора класса образования. Зачем зря говоришь?!

– Расписываться умею, а больше мне и не надо. Смешанные дети у меня. Наполовину московские. Кого учиться? То копать, то сажать, то пасти надо. Жрать-то всегда охота. Обуться не во что было. Отца арестовали, мне два года всего было. Институты не кончала. В горах скрывались. Голой-то как ходить?

– Она в Москве на ВДНХ записана. Молока сдавала по 3600. Здесь ферма была. Сейчас её не стало. Я деда своего не помню. Но и мне обуться не во что было. Я не кержак, я сибиряк-россияк.

– Иконам-то молитесь?

– Молимся.

– Мне мама икону тайком, когда замуж шла, дала. Я молитвы маленькой все знала. Это сейчас с коммунистом связалась, всё заставил забыть. Муж мой первый, Алексей, покойничек, двадцатипятилетний был, из Москвы к нам приехал колхозы делать да нас перевоспитывать. И этот, – кивает на Сергея Михайловича, – ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Тот партийный, честный, выслуженный весь был. Жене не поможет с шестью детьми, всё по делам отсутствовал. То выборы у него, то ещё что. Уважали, пока жив был, а умер – никто и не вспоминает. А пели раньше и как замуж идти, и в армию, на Пасху в особенности, когда Солнце встречаем.

Бабке Марфе, наставнице нашей, больше ста лет. Напуганы все здесь. Всё в земле сохраняют. Никто и Библию при тебе, Алексеевна, читать не будет. Всё убили в русском человеке.

– Нет, не всё. Ребята наши молодые ездят, записывают всё. И обычаи, и песни, и книги спасают. Иконы вот охота посмотреть. Книги старинные сохраняют специально в научной библиотеке, уже не дадут уничтожить.

– Я пела-то много. Учительница одна за мной всё записывала. Она за всеми пишет. Наши девки молодые говорят, что у неё альбом мой есть. Стихов и песен много в альбом писала. Но она не отдаст.

– А в Уймоне поют?

– Да, поют. Но там тоже все вымерли да поразъехались. Это ведь как петь? По-родственному собирались да пели. У нас все поют, особенно хорошо дядя пел. Бывает ведь, что и голоса нет. Какая тогда песня?! Но у нас поют. Сестра старинные песни пела. Мама у нас песенница была, и плакать могла, плакальщица знатная. Я за Алексея пошла, он на гармошке играл. И советские песни пел. Но блатных, каторжных, знал больше.

С парнем дружила, всё звёздочки считала. У нас как раньше? Жених едет, так иконой встречают. Замуж шли, обязательно иконой благословляли. Меня Николой благословляли. Коммунист тот всю жизнь мою поломал. А этот, – кивает на Сергея Михайловича, – не коммунист, но туда же, с ними. На Пасху меня заставляет баню топить.

– Дак угваздался так, что не отмоешься. Я боялся икон, маленький-то. Глаза у них, как живые.

– Надо было мне дедку просить, чтоб иконку дал. Марфа поди и не даст. Она боязливая. Думаешь, у неё икон мало? У неё столько их...

– У неё в кладовке?

– Где там! Там сразу увидят да отберут. Так и ждут, чтоб иконы объявились. Под землёй прятали. Шесть икон своровали дети мои да выбросили. А у тебя мать померла, куда иконы-то девали?

– Не знаю, не помню. Не знаю я никого. Не верю никому. Сколько земли перепахал, сколько зерна намолотил, а никто мне не помог. На ходу спишь и работаешь. Где он, Бог? Где его помощь?

– Татьяна Алексеевна, что это у тебя?

– Пояс. Из Троице-Сергиевой лавры.

– А у нас другие. У нас ткут каждому свой оберег. Тонко ткут, из шерсти. У нас и крестики другие, по-старинному.

– Да хоть какие-нибудь были бы. В городе крестик купить невозможно, а икону и лампаду, тем более, невозможно. Это я с Нового Афона привезла.

– А у нас рубят самодельные, из серебра. Я находила на огороде крестик золотой. Хранила в коробочке. А пошла мода кресты носить, разрешили, так у меня украли. Беда с крестами в деревне. Человека тайком окрестим, с чужим крестом. А уж когда нарубят, так раздадут крещёным. У меня один есть, так берегу на смерть, чтобы не потерялся. А Юля что без креста?

– Я крещёная. Старшую дочь тайком окрестили, а Юлю не успели. Бабушка умерла.

– Так ей восемнадцати нет ещё, можно в воде. Давай окрестим! На речке окрестим. Старухи прочитают все молитвы. Там же долго читать, а она нырнула бы три раза. Там три раза в Катунь нырять надо. А молитвы все будут отчитаны, как надо. Тётка Марфа крестит по-старинному, долго. Может, и окрестит тебя сама. Здесь крестят наспех, а по мне внучата пусть до настоящего крещения дотянут, чем так, наспех креститься.

Она ведь больше часа крестит. И земле придаёт, и чтоб долго жил, чтобы дети водились. Всё-всё она читает. Но она

старенькая очень. Как её на речку отнесём? Шепотками, Юля, ручки твои не полечить, крещёной надо быть.

09.03.91. Очень холодно в мартовской Уймонской долине утром, а по ночам и вовсе до тридцати градусов мороза. Днём на солнце чуть подтаивает, гололёд. Принаряжаемся по местным меркам. Капитолина достаёт из казёнки – так называют здесь амбар – и заносит в дом цветастые разноцветные шали с кистями. Внучка её, Танюшка, с шалью лихо управилась, а нас долго учили, как правильно закреплять шаль без узлов, чтобы была красиво расправлена и не сваливалась с головы. Капитолина Ивановна надевает дублёнку собственной выделки, попутно рассказывая мне, как красить шкуры в оранжево-коричневый цвет ивняком. Я утепляюсь и утепляю Юлю. Танюшка же, по её выражению, даёт форсу, то есть надела капроновые чулки, новое голубое демисезонное пальто. Дружно упрашиваем её переодеться: в таком одеянии ей на морозе долго не продержаться.

– Я к холоду привычная! – отбивается Танюшка. – Праздник же! Со всей долины народ будет, а я, как кулёма, одна буду в старье. Не замёрзну! А не так будет, так побегу по дороге, всего одиннадцать километров. Шума больше!

В Усть-Коксе на площади толпится народ. Из громкоговорителей несётся музыка. С удивлением узнаю: «А ну-ка девушки, а ну, красавицы, пускай поёт о нас страна. И громкой песнею пускай прославятся среди героев наши имена», – песня из далёкого детства. Вот уж не думала, что она доживёт до наших дней! На двух грузовиках, составленных вместе, устроена импровизированная сцена. Местная художественная самодеятельность даёт с неё концерт. Там кто-то пляшет и поёт. Чуть поодаль укреплено чучело Зимы. Кукла красивая, в короне, с ниткой бус из мелких картофелин. Троек всего три. Хозяева наши огорчаются, что праздник без них – не

праздник. Нас, как гостей, прокатывают на тройке вокруг площади. Впечатление незабываемое! Веселье в разгаре, несмотря на мороз, который не только не отпускает, но ещё и крепчает. Идёт перетягивание каната, мужчины соревнуются в подъёме гири. Молодёжь бьётся мешками с соломой, связанными верёвками, сидя на коновязи. Они пытаются сбить друг друга. Эту игру вижу первый раз, поэтому приглядываюсь к ней особенно.

Народ красочно разодет. На многих поверх пальто и дублёнок надеты цветастые платья и, это вижу впервые, на меховых шапках поверх надеты венки из искусственных цветов и лент или повязаны умопомрачительной красоты шали. Где их только берут?! Платья красивые, явно пошиты именно для таких случаев, когда нужно их надеть поверх пальто и шуб, но тщательно украшены оборками, рюшками, лентами. «Ох, ох, недаром славится русская красавица! Ох, ох, недаром, ох, ох, недаром...». Детвора катается с горки. Поджигается чучело Зимы, у костра народ веселится вовсю. На саях разостланы платки, на них выложены блины, сало, огурчики. В стопочки, именно в стопочки, а не в стаканы, наливается горячительный напиток. Едят ледяную еду, крикают, выпивая, и заедают корочкой хлеба и огурчиком.

Нас приглашают в гости Блиновы, знакомые Капитолины Ивановны и Сергея Михайловича. Идём всей толпой в конец улицы к мосту. Прекрасный гостеприимный дом. Мигом накрыли стол с пирогами, мясом, черёмуховой мукой с сахаром, брусникой, мочёным ревенем, медовухой. Согреваемся быстро и осоловеваем от обильной еды. Наши хозяева засиделись. Нас троих, по моей просьбе, повёз в Огнёвку на своей машине Лёня.

Поехали мы навестить Татьяну Васильевну, вдову знакомого художника, Бобровского Виктора Николаевича. Познакоми-

лись мы с ясновидящим на конференции «Алтай – Гималаи», выездная сессия которой проходила прошедшей осенью в этих местах на Катунь. Он был убит из ружья в конце января в собственном доме через дверь соседом. Дом нашли сразу. Я не ожидала, что увижу старую халупу о двух маленьких комнатушках. В доме почти нет книг. По стенам развешены этюды – картинами назвать их не осмелюсь никогда. Плохой рисунок, бедный колорит. Но что-то околдовывает. Группа берёзок, а взгляд на них – сверху и чуть под углом, словно в полёте их рисовали. Жаль, не рассмотрела их хорошо, надеюсь на слайды. Сниму с разрешения хозяйки. Мы попали как раз на поминки, сегодня сороковины. В доме были мать и жена Виктора Николаевича. Посидели с ними за столом, почти ни к чему не притронувшись – сыты сверх всякой меры. Задержаться больше, чем на полчаса, нельзя. Нас подвёз, вопреки воле жены, Лёня, приёмный сын Атамановых, самый спокойный и рассудительный из семьи. Я обещала Надежде Андреевне, что вернёмся рано, чтобы не обременять Блиновых гостями и добраться засветло в деревню, где ждёт скот. Да простит меня Бобровский там, на небесах, за столь краткий визит.

Вечером в избе, дома, обсуждаем праздники. Хозяева рассказывают о своей семье и нравах жителей деревни.

– В Гражданскую войну уезжали отсюда в Туву, там с тувинцами кочевали. Там войны не было. Были паспорта тувинские и русские, но наши никаких не взяли. В Красноярске тоже наши. Но они уже смешанные. И после войны уезжали. В революцию и потом тут зажали всех. Хотели, чтобы мы золотой промышленностью занялись. Но золотая промышленность не прижилась у нас, не дали мы. Самый главный (молитвы-то читает, уставом записанные) уставом и написал, сам читал, я грамотный, смеялся: «Верховному

Правителю, земному устроителю, Никите Хрущёву». И заголовок: «Послать желающих добывать золото в Касимский район в Туву, но добровольно».

– Всё теперь смешалось, никакого порядка не стало.

– Я летом, Татьяна Алексеевна, в поле был. По бороне у меня что-то дзинь, а это бронзовая иконка что ли, или бляха какая-то. Я в деревне показал, а они в город доложили. Приехали: «Где взял?» Говорю, что в поле нашёл. Пристали, чтоб место показал. Это говорят, старина такая далёкая, редкость для всей земли. А кого показать? Поле большое, я и не запомнил. Вывернулась да и вывернулась, там её уже нет. Чего искать-то? Какой-то редкий буддистский знак. Мне благодарность объявили, что молодец, мимо не прошёл. А по мне что они, что алтайцы, что казахи – все одинаковые.

– Верования у них разные, Сергей Михайлович. Шаманизм, алтайцы язычники. Монотеизм, когда Бог один – Аллах или Будда, или Христос у нас.

– Да, обычаи у них разные. У алтайцев на свадьбе сватов с коня снимают, шкуру с коня спустят да повесят. Она засыхает. В шкуру эту свата сажают и дубасят его. Зачем так делают, не знаю. Но он, бедняга, поди, и через неделю разогнуться не может. А обызы у них, те вообще дуриком пляшут. Так у нас шаманов зовут. Говорят «забызил», шаманит, значит. Обыз сядет и воет «О-о-о-о-о». Как сирена. Сидит, орёт, голову склонит, а потом пляшет. У них косичка. Обызят, когда свадьбу играют, покойника провожают и лечат кого. Ночь прокамлает, провоет, а они потом ему коня или корову. Вертится так, что железки на нём и хвостики кругом мелькают. Косточки, косички, ленточки.

Мы молодые были, озоровали. Маленький был, боялся их страшно. Берёзу жгут. Под воротничком у них вот на этом месте пуговичка четырёхгранная была. Белая сама, а по кра-

ям чёрные пятнышки. Здорово они её берегли. Схватишься за неё в игре, а они ни в какую не отдадут, берегли. Святая пуговица. Не рассказывают и не показывают, как крест у нас. Хоть воротник оторви, а не даст. Поставят перед собой, станут на колени и молятся.

С казахами жили, с ними – то же. На Солнце молятся на закате. Сядет обыз и не двигается. Как мальчишки над ними издевались! В шапку и щепок, и говна накладывают, а он не отвлекается. А уж когда закончит, тогда берегись. Ну, и наши взрослые нас тоже за это драли. Мамка нам всегда наказывала: «Человек Богу молится, по-своему, но за кого-то. Нельзя мешать молиться. Бог накажет». Мой отец, покойничек, в хоре пел. А потом церкву закрыли. А мать-то попу, когда брат родился, золотой рубль снесла. Он тайком в подвале брата и окрестил.

– И нас мама тайком крестила. Меня в старой церкви в подмосковном Томилине крестили, в церкви Успения Богородицы в имении князя Оболенского, – говорю я.

– И нас тайком крестили, и я всех своих тайком. Алексей-покойничек знал об этом, но молчал. Подарочки привезёт, а сам молчит. Милое дело было мне всегда поговорить со старухами. Я с ними дружбу имела. Они-то всё знают и обо всех. Чего не умела делать, так они всегда подучат. Серёжа, сноха у вас была в Костахте, сын у неё один. Васильева мать, что коня твоего напугал, вспомни. Она была уж какая вредная! Бабке сто семнадцать лет, когда померла, а ей было девяносто шесть тогда, когда случилось. Придёт ко мне, обижалась на сноху. Детей-то у неё своих не было, приёмного взяли и вырастили себе сына. Я ей травянухи налью, в бане её вымою, чаем напою. За семьдесят ей было, а она ко мне в любую погоду идёт. И зимой и летом ребятишек носила крестить. Там у неё на огороде баба каменная была, страшная такая.

Каменная статуя. У неё тут всё обрезано, а уж страшна... Но сказали, что больно знатная была. Её по телевизору потом показывали. Она с бабой ладила.

Спрашиваю, как в тайгу не боится ходить? Упрётся ведь на несколько дней. А она говорит, что молитву знает, каждой лесине молится, знает, где, какая ягода растёт, грибы. «Шишка поспеет, шишку собью, пощёлкаю». Да ведь по месяцу-полтора по тайге ходит! На себе припрёт мешок. Ягода вся её была. И черёмуху, и другую вёдрами носила. Когда старику её было под сто двадцать, ей стукнуло сто семь. Старик дрова резал только пилой. Могучий был у неё старик. Она пироги шибко большие стряпала. А он куснёт – и нет пирога. А деток-то не было у них. А чего не было? Она ещё та штучка была! Кувыркалась с ним на виду у всех. Загуляет – терпеть не может. Он её бил, а она на коня да от него. Он её бил смертным боем. Побьёт, выбросит на улицу. А она живучая, вон сколько прожила. А уж песен, стихов, молитв знала столько! Будешь ночь слушать, она будет ночь читать. Скотину она умела заговаривать, чтобы та никуда не уходила. И от вора, чтобы скотину не своровал, и от зверя. Всё на свете она знала. Заговорила я вас. Вам бы отдохнуть надо.

Холодную воду, бывало, принесём из колодца, да в ней крестом поводит, и младенец делается, как ангел. Знает она, в какой день какую траву выдёргивать. Знала, как вечный зипун сделать: одна нитка шерстяная, а другая – льняная, да крапивы чуть добавить, ему сносу нет. А нынешнюю фуфайку покупаешь, она через месяц разваливается.

– Я хорошо знаю и помню, – говорит Сергей Михайлович. – Вот советский плащ. Я двадцать три года проработал чабаном. Плащ от дождя и ветра, – и только. Раньше надел шерстяной зипун. Дождь ли, жара – разделся, а ты сухой. Низ

у мужиков никогда не болел. Почему? Пояса тканые носили. Спина всегда закрыта.

– Мы сегодня видели ватные пояса в Коксе.

– Где?!

– В Коксе у вас.

– Мне Капа к советским рубашкам лоскуты пришила, чтобы спина не была голой.

– Раньше собирались и пели с веретеном. Ничего мне не нравится сейчас. Работала всю жизнь, ни праздников не знала, ни выходных. А другая умела языком лалакать да глотку драть, а вышли на пенсию и одинаково живём. Разве это справедливо? Обидно мне, сильно обидно. Наглость у некоторых. Летом Харламова полтора центнера надаивала, а я – восемь центнеров. А премию дают – она себе хрипом выбьет. Если б не раскулачивали... Если умеешь работать, работаешь хорошо, всё у тебя будет, Лодырь – так у тебя ничего.

– Вот Горбачёв свободу дал. Дак как она, Алексеевна?

– Так и налоги, и цены на всё повысили.

– Баба Капа, можно ещё чайку?

– Да пейте. Вон молоко, только оно холодное. Я и сливок взбила.

– Ты солила их, Капа?

– Нет.

Капитолина Ивановна бежит солить. И опять разговоры разные.

– Ира, сестра моя, у нас червей боялась. Картошку тяпаем по гектару. Она ленивая. «Ты поли», – говорю, – а я тяпать буду». «Нет, – отвечает, – ты поли, а я тяпать буду». Я ей червяка за пазуху и бросила. А она – бряк, упала и сделалась вся чёрная. Я с плетня ведро, там вода была. Хлобысть на неё. А она не шевелится. Я из колодца ведро да на неё. Она чуть зашевелилась. Прогнала её домой, лишь бы не сказала.

Пришлось мне таять и полоть одной. Домой пришла. А мать мне: «Что-то Ира заболела, красная вся лежит». Я и говорю: «Изурочили её».

– Да кто?!

– Да вот эта шла и сказала, что мы молодцы. Ну, отлили её воском, а она болеет.

– Меня не пустили копны на быках возить. Одеть было нечего. Курткой трубу прикрывали, она вся в саже была. Ну, я её и надела. Да тайком туда. Быки испугались, и люди все врассыпную в разные стороны, как я выскочила. Пришлось прятаться за зарод.

– Бабоньки, – кричат, – что это было?

– Да птицы испугались.

– Нет, это не птица, это большой и чёрный кто-то.

– А ведь бесы. Едем скорее!

И уехали. Я в зароде сидела. А дед остался. Я выползать стала по земле, а он меня увидел и дал дёру. Кричу, что это я, Капа, да где там! Я заплакала. А он упал на землю и катается. Потом флягу открыл и говорит: «Смотри! Ты как чертёнок. Всех перепугала». Зеркал тогда не было. Мамоньки мои! Что же от меня падают все? А я как бесовка. Так я и пошла работать. Да на фуфайку заработала, премию мне фуфайкой дали.

10.03.91. Утром двадцать семь градусов мороза. Торопливо едим баранину с картошкой, разогретую в печи и залитую яйцами. Есть не хочется, но невозможно удержаться от вкусной еды, пахнувшей так заманчиво в тесной комнате. Заходит сын Борис, рослый, статный парень, ради которого нас и приглашали, как я понимаю.

Подсел к столу. Выпили по тридцать граммов берёзовки. Оживлённо вспоминают, как односельчанина одного из-за вредного характера не приглашали на застолья.

– А он возьми да и пожалуйся в милицию. Понятых позвали. «Ничего у меня нет, – говорит хозяин, – пробуйте, вон, на печке». А хозяин-то берёзовую бражку на печке держал. Милиционеры, конечно, тоже люди, сами пьяные бывают. Он им и говорит: «Баба у меня сегодня сорок дён, как померла. Садитесь к столу, сороковины». Открыто флягу достал и сокрушается, что больше нечем угостить. Так милиция па-костнику даже штраф выписала за ложный донос.

Сергей Михайлович напутствует меня в дорогу своеобразно: – Гость тут у нас один был летом. Молоко пил, выпаивали его. В машине его обратно везли. В гору захотел на коне. «У меня, – говорит, – времени мало, нет совсем. Хочу Алтай смотреть. Давайте в гору напрямую». А на коне сам не сидел. А там, на Теректинском, колодник страшный. Через речку Красноярку стали переходить, я ему говорю: коня не держи, не дёргай поводка никогда. Через реку переехал, говорю: слазь! Молиться будем. Вот где мы на земле молимся, там ангелы небесные нам отдыхать дадут. Поэтому молись, Татьяна, чтобы была легка твоя дорога.

Нас провожают все, приглашая приехать летом. Уймонская долина по-зимнему в дымке. На востоке розовое сиянье рас-света. Борис подвозит нас с Юлей на Сынке к тюнгуурской трассе и сажает на проходящий с Катанды на Горно-Алтайск автобус. Он полупустой. Мы сидим и можем теперь любоваться сквозь промёрзшие окна на горные пейзажи. Они прекрасны! Синь неба, густая до черноты, белизна снегов, рисунок леса на заснеженных склонах. Открытые, забитые снегом ущелья, переходящие в долины. Склоны гор на солнце обледеневают и пускают солнечные зайчики на соседние горы. Те, в свою очередь, пускают зайчики на другие горы. Воздух полон светом, он кажется живым.